

Нас было много на челне.

Иные парус напрягали, иные просто умирали. Их, вернее, убирали. Чтоб не мешали. А они мешали — своим существованием. Не выдерживали схваток с собственными слабостями, милыми такими недостатками — недержание слова, недержание языка, недержание денег. Деньги не любят солнечного света, свежего ветра, громких голосов. Они предпочитают тишину и полумрак. И еще деньги не любят, когда их называют деньгами.

Лучше их никак не называть.

Даже употреблять слово «они»... Нежелательно. У них свое понимание жизни. Понять их законы невозможно, лучше и не пытаться. Этого они тоже не любят — нервничают и исчезают, чтобы вынырнуть в совершенно неожиданном месте, в непредсказуемой компании и опять же с непонятной целью.

Деньги не могут существовать сами по себе, они питаются кровью человеческой, страстями и, простите за глупое слово, — мечтами, успехами и поражениями человека.

Да, нас было много на челне.

Но мы не знали законов денег, вернее, больших денег. А деньги и большие деньги отличаются, как небо и земля. Потом нам вдруг стало тесновато. И хотя нас становилось все меньше, ощущение тесноты не исчезало.

Более того, оно делалось все нестерпимее. Это чувство мучительно требовало выхода.

И оно этот выход находило.

Теперь я остался один. Наверное, бывает и так. А ведь прошло совсем немного времени... Года два, может быть, три.

И я один.

Лежу на голых камнях коктебельского пляжа и чувствую себя каким-то чудищем, выброшенным штормом из морских глубин. Третий день сильный ветер, злая волна, на пляже почти никого, и только мое отощавшее тело с бестолково разбросанными руками-ногами украшает пустынный пейзаж. В сентябре здесь всегда ветры, солнечные ветры из южных стран. В Турции опять землетрясение, а сюда докатилась лишь морская рябь — мутная, теплая, безобидная.

Подо мной — грязноватая, бесформенная галька Дома творчества писателей. Когда-то здесь был прекрасный черный песок, но его вывезли на строительство дач и завезли щебень с ближайших карьеров. За двадцать лет море кое-как обкатало острые камни, и теперь на них можно лежать. Но сущность щебня осталась прежней — каждый камень так и норовит впиться в тело каким-нибудь отупевшим своим острием. Пройдет сотня лет, и, глядишь, здесь будет вполне терпимый пляж.

Дождаться бы...

Но это я ворчу, ворчу, рассматривая гальку прямо перед моими глазами. Между камнями мятая пробка от бутылки, осколок стекла, ржавая женская шпилька. Черные верткие жучки бесстрашно протискиваются в щели между камнями, не боясь быть раздавленными, не подозревая, что человеческая ступня легко перемещает камни, которые кажутся им такой надежной защитой. Не знают, бедные, не знают, глупые, что надежных защит

не бывает, как не бывает надежных крыш — уж об этом-то я могу судить со знанием дела.

В пяти метрах от меня лежат на камнях несколько загорелых до черноты девушек. Я бы даже сказал, излишне загорелых, у некоторых на лбу, на щеках проступили сероватые пигментные пятна — явный перебор. Видимо, здесь они не первый месяц. Неужели можно столько загорать?

Надеваю темные очки, купленные когда-то на неаполитанской набережной, хорошие очки, из настоящего, чистого стекла. Теперь я могу рассматривать девушек настырно и безнаказанно. И я рассматриваю их голые плечи, ягодицы, бедра и прочие достоинства. Все открыто, все обнажено. Это не нудисты, нет, на них купальники, но какие-то своеобразные. Верхняя часть купальника отсутствует вовсе, а нижняя представляет собой два шнурочка — один проходит по талии, а второй утонул где-то между их достоинствами. Девушки знают, что я их рассматриваю, и принимают причудливые позы, чтобы солнце бесстыдными и жаркими своими лучами дотянулось до самых сокровенных мест, чтобы и самыми сокровенными своими местами похвалиться по возвращении на Большую землю.

Неужели найдется воздыхатель, который и туда заглянет, чтобы убедиться — и там все загорело? Нет, ничто во мне не вздрагивает, ничто не откликается на эти невинные, в общем-то, призывы. Я пуст, как вон та пивная бутылка, которая безвольно ворочается в мутных волнах, поблескивая зеленоватыми боками.

— Не делай этого, — попросил он, не оглядываясь. — Будешь сожалеть. Если хочешь, я исчезну. И ты никогда меня больше не увидишь, никогда обо мне не услышишь.

— Согласен, — сказал я и нажал курок. Я знал, куда нужно стрелять, чтобы всем было хорошо. Он больше

ни о чем не просил. И свое обещание выполнил — я его с тех пор не встречал и ничего о нем не слышал. Откуда мне было знать, что он и мертвым умудрится о себе напомнить страшновато и опасно?

А сколько нас было? Человек семь?

Да, нас было семь человек.

Иные парус напрягали, иные тихо исчезали...

— Молодой человек, который час? — спросила девушка с раздвинутыми навстречу солнцу ногами, спросила, не оборачиваясь, не глядя, но всем своим телом меня видя и ощущая.

— Половина второго, — обычно я не ошибаюсь больше чем на две-три минуты.

— О! Скоро обед! — обрадовалась девушка и, сдвинув потрясающие свои ножки, перевернулась на живот. — А вы где обедаете?

— В столовой.

— О! Вы — писатель?

— Спасатель.

— Кого спасаете?

— Себя в основном.

— Успешно?

— Как видите.

— А от чего спасаете?

— От смерти.

— Вы боитесь смерти? — Ее голубовато-серые глаза были широко открыты, и, ожидая ответа, она даже чуть приоткрыла ротик, показав ровные белые зубки — сознательно показала, чтобы я знал, какой она бывает в минуту... Ну, в ту самую минуту. Все это я увидел, все понял и, заглянув в себя, в самую глубину, с облегчением убедился — пусто.

— Боюсь, — ответил я после некоторого молчания.

— Она где-то рядом?

— Она всегда рядом.

— Совсем-совсем? — Слова совершенно невинные, но только после вопроса я понял, что чем-то ее заинтересовал.

— На расстоянии вытянутой руки.

— И моя смерть тоже... На расстоянии вытянутой руки?

— Ваша чуть подальше... На расстоянии вытянутой ноги. А ваши ноги, как я заметил, достаточно длинны.

Девушка рассмеялась, я тоже изобразил лицом нечто напоминающее улыбку, чтобы не показаться уж совсем круглым идиотом.

Кроме девушек и меня, на пляже никого не было.

И Дом творчества писателей тоже был пуст.

Нет здесь писателей.

А говорят, в прежние времена сюда ломились инженеры человеческих душ, за каждое место дрались, за полгода заявки подавали, секретаршам конфеты носили коробками, чтоб понравиться, чтоб запомниться. Куда они все подевались?

Их тоже было много?

На их челне...

Иные что-то создавали, иные в море заплывали, а чаще просто поддавали.

Девушка почему-то настойчиво спрашивала о смерти, зацепило ее словцо, брошенное без всякой задней мысли. Неужели догадалась, неужели почувствовала, что от меня просто несет вонью смерти?

Может быть, может быть...

Меня сейчас могут искать на Багамах, Канарах, даже на Ямайке. С единственным стремлением — убрать. Но не в Коктебеле же... Не в сентябре же, когда опустевают пляжи, шашлычные, горные тропы и прибрежные воды. После летнего многолюдья, после круглосуточных загулов, когда ночи напролет земля содрогалась от грохота

оркестров, визга женщин, осатаневших от безнадзорности...

После всего этого саднящая тишина кажется невыносимой.

Девушка больше ни о чем не спрашивала. Она произнесла все, что требуется в таких случаях, даже больше. За дальнейшими ее словами уже шла бы навязчивость.

Еще раз прислушался к себе, всмотрелся в темные свои глубины.

Печальная опустошенность.

Такое состояние бывает после затяжной болезни, когда однажды утром просыпаешься слабым, немощным, похуевшим, но здоровым.

Я поднялся, сунул ноги в шлепанцы, поднял рубаху и поволок, поволок ее по горячей гальке к выходу. Камни сухо поскрипывали под ногами, рядом шелестела неспешная волна, от Карадага дул теплый ветер, настоящий на осенних травах. Где-то рядом ощущалось присутствие людей, слышались негромкие голоса, призывный южный смех, но меня эти звуки нисколько не затрагивали.

И вдруг охватило острое ощущение — вокруг сентябрь, вокруг Коктебель, а я здесь один, обдуваемый ветром с гор. Загорелый, отощавший, пустой. И эта пустота была приятна, как и солнечный ветер, как и легкая волна на темно-синем море.

К сентябрю Коктебель остывал, и появлялась в нем почти непереносимая привлекательность. Камни уже не были столь горячи, и полуденный зной становился вполне терпимым. Хотя по опустевшим дорожкам все еще бродили красавицы, но уже не летние, другие, чуть остывшие после лета, после жизни, полной чего-то несбывшегося, — они все выглядели так, будто у них что-то важное не состоялось.

Все мы немного поостыли, поуспокоились, поубавилось желаний и куражу. Но то, что в нас осталось, то

малое, что сохранилось, вдруг заострилось, наполнилось неутихающей жаждой доказать свое, остаться правым или хотя бы выжить и уже этим доказать свою правоту, в чем бы она ни заключалась.

Уж не я ли единственный и остался? Не исключено, не исключено... Я да вот еще некто, который шастает сейчас где-то по Багамам или по Канарам, сунув руку в карман и сняв предохранитель. Его глаза за темными очками прищурены бдительно и настороженно — он высматривает меня.

Удачи тебе, дорогой.

Не обознайся, не промахнись.

За себя ручаюсь — не обознаюсь. И не промахнусь.

И вдруг в мое самодовольное благодушие вошла тревога, беспокойство. Что-то было не так, что-то нарушило улыбчивое перебирание событий недавнего прошлого.

Я подошел к парапету, положил ладони на горячий бетон, взглянул на море, пошарил взглядом по берегу.

Внизу на камнях увидел девичье лежбище — несколько минут назад я был там. Девушки заметили меня, одна из них помахала тонкой загорелой рукой. Я ответил, она улыбнулась и пошире раздвинула ножки, впуская в себя солнце. Вот видишь, как бы говорила она, я не только снаружи, я и внутри вся залита солнцем, у меня и внутри все горячо, свежо и коктебельно. Она хотела убедиться в том, что я вижу ее раскованность и готовность.

Пристальнее взглянув в себя, я убедился еще раз — пусто. Пустота, пронизанная опасностью.

Я понял — меня можно вычислить.

А если можно, то уже вычислили.

Однажды, в хорошем уже состоянии, когда все мы были на одном челне и нам не было тесно... В грузинском ресторане, недалеко от станции метро «Прспект Мира»... Да-да, это случилось именно там, выходишь из метро — и налево... На столе стояло много шампанского,

у нас всегда было много шампанского... Фирменный напиток. Серебряные ведерки, забитые кубиками льда, из них торчат серебристо-зеленые горлышки, все счастливы и расслаблены — удалось, получилось, состоялось. И я произнес слово «Карадаг». Не помню, по какому поводу, просто всплыло из глубин организма, добралось до языка, и глупый язык проговорил это словцо.

Карадаг.

Так вот, если кто-то это словцо вспомнит...

То у меня нет убежища.

И я сейчас, как вошь на гребешке, — виден со всех сторон.

Скользнув взглядом по шербатым вершинам Карадага, я спросил себя: будешь удирать? И ответил себе — нет. Если последние наши выстрелы прозвучат здесь — так тому и быть. Нет сил снова куда-то нестись, менять самолеты на пароходы, острова на материки, горы на равнины. Нет никаких сил. А если уж откровенно, то и некуда. Мир, оказывается, не так уж и велик. Места, где ты хочешь жить, можно перечислить по пальцам. Где-то в Греции найдется уголок, в Испании... Есть в запасе юг Сахалина...

Пусть шумят волны, дует с гор теплый ветер, настоящий на горькой крымской полыни, пусть набережная с каждым днем становится все безлюднее, пусть остывают камни парапета, мутнеют волны. Татары и узбеки, азербайджанцы и армяне уже закрывают шашлычные, чебуречные, хачапурные и прочие дерьмовые свои забегаловки. Шашлыки разогревают по несколько дней, пока не купит какой-нибудь дурак, ошалевший от столовских харчей. И чебуреки давно превратились в подошвы, но торговцы продолжают их поджаривать и зазывать простодушных отдыхающих. В разговор с торгашами лучше не вступать — тут же начинают восторгаться Басаевым, Радуевым, Хаттабом, тут же с не-

понятным остервенением начинают материть русских. Ну и ехали бы жарить шашлыки к Басаеву, попробовали бы угостить своими чебуречными ошметьями Хаттаба...

Чужие люди.

А как тогда лилось шампанское! Какие счастливые брызги окропляли застолье! Как прекрасен был мир, распахнувшийся вдруг перед нами во всем своем великолепии! Он и сейчас не хуже, этот мир, но нет сил восторгаться им, принимать от него дары великодушные и бесценные. И уж нет тех людей, которые восторгались этим миром так искренне, так радостно и ошарашенно.

Погиб и кормчий, и пловец...

Или певец?

А может, подлец?

Меня легче узнать — я длинный. Моя голова всегда над толпой. Мой затылок уязвим для любого стрелка. Единственная надежда — он глупее.

И знает это.

И потому опаснее.

Он не будет искать удобный момент, подыскивать пути отхода, выбирать время суток, когда выполнить черную свою работу уместнее всего. Просто всадит мне три пули между ухом и виском, а потом спокойно шагнет в кусты, чтобы отлить. Он прекрасно знает, что здесь, в Коктебеле, ему нечего опасаться. Забросит пистолет в залитый водой строительный котлован, выйдет на дорогу и на первой же попутке рванет в Феодосию. Или в противоположную сторону — в Судак, Ялту. И не задумается даже — куда лучше, куда безопаснее. Не будет готовиться и колебаться. Да, он непредсказуем. Я уже слышал об этом — отправляясь на задание, он мог остановить машину, которая шла в нужном направлении, мог сесть в машину, которая шла в противоположную сторону, — и заходил с тыла.

Я его никогда не видел, ничего о нем не знаю, кроме одного — он всегда выполнял порученное. Даже когда заказчик уже был мертв. Кодекс чести. Если взял деньги, работу надо выполнить. Похоже, любит свое дело и даже получает от него удовольствие. Я не знаю его имени, возраста... Мужчина ли он? Женщина?

Оказывается, и это мне неизвестно.

Загорелые девочки легкой стайкой пропорхнули мимо. Та, которая выбрала меня, помахала рукой. Я ответил таким же взмахом. Она улыбнулась. Красивое, дерзкое лицо, хорошая осанка. В порядке девочка. И спереди, и сбоку, и сзади. Так бывает нечасто. Ее подруги засмеялись, оглянулись — видимо, было что-то между ними обо мне сказано... «Смейся, смейся громче всех, милое создание. Для тебя веселый смех, для меня — страдание».

Опять заглянул в себя, прислушался.

Тихо и пусто. Почувствовал себя неуязвимее. Я всегда становился слишком уж зависимым, когда связывался с такими вот... Солнечными.

Часы на руке пискнули два раза — значит, время обеда. Громыкнул запор столовой Дома творчества, и на пороге возникла Наташа — хулиганистая, доброжелательная, которая в свое время кормила всю советскую литературу, всех классиков, лауреатов, секретарей, главных редакторов. И надо же, всех помнит, о каждом может рассказать забавную столовскую историю.

— Кушать подано! — сказала она громким голосом, оповестив пустую, раскаленную под полуденным солнцем площадь, за которой посверкивало мелкой рябью море.

И я шагнул в полумрак пустого зала. Когда-то здесь невозможно было протолкнуться — гудели честолюбивые, возбужденные голоса самых знаменитых людей страны. Да, их было много на челне. Иные парус напрягали, иные пузыри пускали. Их монументальные жены

и юные любовницы, понавезшие нарядов со всего света, не знали, где все это барахло показать.

Показывали в Коктебеле, на этой площади, в этой столовой.

А сейчас... На всем затемненном пространстве столовой я увидел лишь Андрея — какой-то полубанкир, полукиллер приехал отдыхать из Днепропетровска. Мордатый, молодой, замедленный, с молчаливым ироническим пониманием о себе и об остальном мире. Нас рассадили в разных концах зала, словно пометили нами размер громадного помещения. Мы поняли друг друга с первого взгляда. Мы были из одного племени — из обреченных.

Кажется, он тоже спасался. В его глазах я увидел ту же пустоватую печаль понимания, которая, наверное, была и у меня. Солнечные девочки клюют на такие взгляды. Они, глупые, видят совсем не то, что есть, они видят бесконечное, уверенное в себе спокойствие, обеспеченное круизами, лайнерами, островами и прочими прелестями, недоступными для них и потому особенно желанными.

Ошибаются.

Это не спокойствие.

Это пустота.

Когда-нибудь поймут, чуть попозже, чуть попозже, как говорит один мой знакомый следователь прокуратуры. Поймут, когда ничего уже нельзя будет исправить, когда их судьбы приобретут устойчивую необратимость. Впрочем, я не уверен, что им захочется что-либо менять. Канары, круизы, казино... Засасывают и лишают человека естественных, выверенных тысячелетиями ценностей.

Это я уже могу произнести совершенно уверенно.

На первое был суп. Прозрачная жижица с кружочками жира и зелеными пятнышками петрушки. Выхлебал

охотно и даже с удовольствием. На второе — котлета с каким-то неузнаваемым гарниром. Съел только котлету. На третье — компот розового цвета.

Окна со стороны моря так густо заросли диким виноградом, что только изредка в них можно было увидеть просвет. Полумрак создавал ощущение прохлады и свежести.

— Как обед? — спросила Наташа, проносясь мимо с тележкой, на которой позвякивали пустые тарелки.

— Отлично!

— Добавки?

— Нет, спасибо. Чуть попозже.

— На ужин рыба.

— Буду ждать с нетерпением, — заверил я.

Меня вполне устраивало такое питание. Возникло ощущение, что благодаря убогости питания во мне что-то очищалось, шел какой-то благотворный процесс, сути которого я еще не понял. Но сознавал — что-то во мне происходит, идут какие-то непонятные, но желанные превращения.

Одно из окон столовой было свободным от зелени — то ли не успело зарости, то ли его очистили, чтобы хоть немного осветить сумрачный зал. Через это окно я и увидел человека, до боли, до ужаса знакомого мне. Я бросился к выходу, пронесся среди столиков, выскочил на площадь. Но после полумрака зала оказался ослепленным и некоторое время беспомощно стоял в дверях, не в силах сдвинуться с места. Мелькнувшего мимо окна человека я догнал уже за рестораном «Богдан». Некоторое время шел за ним, потом положил ему руку на плечо и круто развернул к себе.

— Привет, Вася! — сказал я и тут же понял, что обознался.

Это был не он, не Вася.

Вася давно мертв.

— Извини, — я виновато развел руки в стороны.

— Бывает, — ответил незнакомый, чужой, ненужный мне человек. Но не улыбнулся, не простил. Похоже, я его напугал.

Когда я вернулся в сумрак столовой и подошел к своему столу, полубанкир Андрей из дальнего конца зала успокаивающе помахал мне полноватой рукой. Дескать, не переживай, бывает. И только тогда я сообразил, что свой обед уже съел и сюда мог не возвращаться.

— Добавки? — снова спросила Наташа.

— Нет, спасибо. Я за плавками вернулся. Плавки за-был на стуле.

В это время даже сентябрьское солнце выжигает с пляжа, с набережной самых отчаянных, самых стойких. На море частая рябь, с Карадага теплый ветер, в киосках полуживые от зноя девочки покорно досиживают оплаченное время. Ни пива, ни газет в это время никто не покупает. Какие покупки — выжить бы! Первые торговцы устанавливают в узкой пока еще тени фанерные щиты, расставляют на них картины, безделушки из раковин и камней, уже знакомый мне старик с седой бородкой расположился у каменной стены «Богдана» с красной, похоже, выточенной из кирпича безрукой Венерой.

Закрыв глаза, почти на ощупь, почти раздвигая руками обжигающие солнечные лучи, я направился к себе, в девятнадцатый корпус, в одиннадцатый номер. Раньше здесь позволено было останавливаться только классикам, имена и портреты многих из них красовались даже в школьных учебниках. Моего портрета в школьных учебниках нет, но кое-где, тоже в типографском исполнении, он имеется в наличии, и серьезные ребята всматриваются в мои глаза настроенно и опасно. Они надеются, что я умер, но сомневаются. И правильно делают — никто не видел моего трупа. Я его тоже не видел.

На весь корпус нас трое — какой-то молодящийся тип с редкими волосами, выкрашенными в рыжий цвет, инакомыслящий еврей из Нью-Йорка, что-то находящий для себя на этом полудиком берегу, и я — личность без определенных занятий, без багажа, но с деньгами. О том, что я с деньгами, шустрые торговцы прознали на следующий же день и теперь наперебой предлагали мне кольца с местными камнями, фотографии Карадага, керамические подсвечники, пучки целебных трав. Похоже, всех их сбила с толку пустота в моих глазах. Они приняли ее за состоятельность.

И надо же, не ошиблись.

Войдя в прохладный полумрак номера, я закрыл дверь на два оборота ключа, потом закрыл дверь из прихожей, задернул шторы. И только тогда почувствовал себя в безопасности.

— Боже, как хорошо, — выдохнул я, падая раскаленным на солнце лицом в прохладную подушку. — Как хорошо...

Звуки, казалось, исчезли, расплавленные зноем. Сквозь вибрирующие струи воздуха лишь изредка пробились негромкие голоса, ленивый лай собак, визг ошачивенной чьим-то вниманием женщины.

У уличных пробок много недостатков. Тягостное ожидание, рев и вонь перегретых моторов, нервозность, которая как бензиновые испарения пропитывает застывшие в злой беспомощности машины, пустая потеря времени, кажется, лишаящая тебя последнего шанса в жизни. Ты уверен, что, не попади в эту вот пробку, все в твоей судьбе повернулось бы иначе — с обилием радостных встреч и счастливых находок. А теперь вот не будет ни встреч, ни находок, и вообще жизнь пойдет вкривь и вкось.

Много недостатков в уличных пробках — от сгорающего бензина, вместе с которым сгорают твои деньги, до

раздраженности, которая наполняет тебя доверху. Кажется, она стекает по тебе потом, и даже рубашка твоя взмокла от этой человеконенавистнической раздраженности! И кто знает, сколько часов, сколько лет, в конце концов, пройдет, прежде чем ты избавишься от нее и сможешь вздохнуть легко и освобожденно, будто вышел за тяжелые ворота тюрьмы, где томился долго и несправедливо.

Но есть, есть и нечто положительное в этом гнетущем ожидании рядом с перегретым мотором и дергающимся водителем. Хочет того человек или нет, а слова он произносит, слова не только разумные, не только осторожные да продуманные, — всякие слова, разные.

— Москва, она и есть Москва, — негромко произнес пассажир, невидяще глядя в пыльное ветровое стекло, за которым не было ничего, кроме раскаленного воздуха да вздрагивающих от нетерпения машин.

— Это чем же тебе Москва поперек горла стала? — не глядя на него, спросил водитель, чутко уловивший в словах пассажира неприятие города.

— Поперек горла вроде как ничего не стало... А вот поперек дороги... Сам видишь.

— У вас, конечно, лучше, в вашем тмутараканском ханстве? — раздраженно спросил водитель — тощий, фиксатый, небритый.

— Гораздо, — ответил пассажир.

— Везде хорошо, где нас нет.

— Там, где мы, — тоже хорошо.

— Да?! — резко обернулся водитель, опять уловив какое-то унижение. — А где мы — там плохо?

— Как скажешь, — усмехнулся пассажир, выиграв эту маленькую перебранку. Понял это и водитель.

— А пошел ты на фиг! — сказал он и сплюнул в открытое окно.

Они застряли как раз напротив Института Склифосовского. Машины шли в обе стороны, разворачивались,

гудели, над некоторыми уже поднимались прозрачные облачка пара. Проспект Мира почти ничего не отсасывал из этой пробки, со стороны Сретенки, от «Детского мира», с каждой зеленой вспышкой светофора поступали все новые вливания раскаленных машин — бился своеобразный пульс городской жизни.

Пассажира озадаченно посмотрел на водителя, выпятил вперед губы, как бы огорченный откровенной грубостью, несдержанностью собеседника, и принялся рассматривать внутренность машины, уделяя внимание всем тем мелочам и подробностям, которые несколько не интересовали его минуту назад. И вдруг взгляд пассажира остановился на карточке водителя в пластмассовом конвертике. Там значилась фамилия — Здор.

— Так ты — Здор? — спросил он с улыбкой.

— Ну.

— Здорово!

— Это что же тебя так распотешило?

— Первый раз встречаю такую фамилию.

— И последний, — с некоторой горделивостью произнес водитель. — Больше таких нет. Я один — Здор.

— А дети?

— И дети тоже Здоры.

— Или Здорята?

Водитель пожал плечами и тронул машину с места. Проехав метров пять, он опять вынужден был остановиться, оперевшись в широкий зад «пятисотого» «Мерседеса».

— А в той машине наверняка кондиционер, прохлада и полная тишина.

— Там есть еще бар с холодильником, — усмехнулся водитель. — Чтоб они все посдыхали!

— Зачем? — пассажир пожал плечами. — Хорошие ребята. Деловые, четкие, обязательные. Держат слово, не позволяют другим расслабляться. Хочешь такую?

— Что? — протянул Здор с таким выражением, будто ему предложили слетать на Луну.

— Я спросил — хочешь иметь такую же? — спокойно повторил пассажир. В его голосе явно прозвучали равнодушие, невозмутимость и даже некоторая скука, заставившие Здора посмотреть на него уже без насмешки. Он увидел в глазах пассажира именно ту пустоту, которая убеждала — тот не шутит.

— Ты еще спроси — хочу ли я трахнуть Шарон Стоун!

— Не советую.

— Почему?

— Это тебе обойдется во столько же, сколько стоит такая тачка, — пассажир кивнул в сторону задастого «Мерседеса», который перекрывал им все пути, все возможности вырваться вперед. — А там смотри, выбирай чего хочется больше.

— Если у меня будет такая машина, Шарончиха сама в салон залезет. И не захочет вылезать.

— А знаешь, очень даже может быть! — рассмеялся пассажир, откинувшись на спинку сиденья. И в этот момент Здор впервые бросил на него придирчивый, даже подозрительный взгляд.

Тот был явно выше, крупнее водителя, и даже в том, как сидел, чувствовалась раскованность, готовность поступать решительно и быстро. Слова, которые он произносил, тоже подтверждали эту готовность. Пассажир не навязывался со своими истинами, ни на чем не настаивал — и в этом ощущалась сила. Свободный светлый пиджак с подкатанными рукавами, светлые брюки, не штаны, а именно брюки, туфли из плетеной кожи выдавали некую состоятельность. Все на нем было свежее, незаношенное, незастиранное.

— Хочу, — неожиданно сказал водитель, негромко, вроде про себя, но от этого слово прозвучало с некоторым вызовом.

— Что хочешь? Шарон хочешь? Стоун?

— Машину.

— Такую? — пассажир кивнул в сторону «Мерседеса».

— Можно такую. Ты предложил? Отвечаю — хочу.

— Заметано, — пассажир передернул плечами, искося глянул на Здора, и в глазах его впервые за всю поездку сверкнул огонек если не дьявольский, то очень на него похожий. — Заметано, — повторил он уже как бы для себя, прикидывая что-то свое, одному ему известное.

— Когда получать? — Здор поиграл желваками, что могло означать только одно — не верил он пассажиру и если уж ввязался в этот бестолковый разговор, то лишь по одной причине — ткнуть того мордой в собственные пустые слова.

— Значит, так, Здор...

— Михаилом меня зовут.

— Значит, так, Михаил, — невозмутимо поправил сам себя пассажир. — Кстати, меня зовут Игорем. Игорь Выговский. Принимается?

— Сойдет.

— Так вот... Я не трепался. И не надо делать вид, что ты мне не веришь. Веришь. Хочешь такую тачку? Она у тебя будет к концу года. Помолчи! — твердо произнес Выговский, заметив, что Здор опять хочет что-то возразить, перебить, вставить слово злое и бестолковое. — Заметь, я сказал — вот такую. Не лучше и не хуже.

— Это как понимать?

— Понимать надо так... Этой машине не меньше пяти лет,— Выговский кивнул в сторону «Мерседеса». — Значит, и мы с тобой говорим о машине, которая будет примерно в таком же состоянии. В возрасте пяти лет. Во всяком случае, не старше семи.

— Но «пятисотый»?

— «Пятисотый». Если сам к тому времени не передумаешь и не захочешь «жигуля».

— Не захочу.

— Семья? Дети? Квартира? — спросил Выговский.

— Да.

— Дача?

— Да.

— Это хорошо.

— Согласен, дача — это неплохо, — Здор ерничал из последних сил, понимая в глубине души, что он уже во власти этого странного пассажира, которого согласился подбросить на площадь трех вокзалов. В багажнике лежал небольшой его чемоданчик, из чего следовало, что Выговский едет не встречать — он собрался уезжать.

Куда?

Кто его знает!

С площади трех вокзалов можно уехать куда угодно.

— Такая машина в зависимости от состояния... стоит где-то в районе двадцати тысяч долларов.

— Не возражаю! — сказал Здор опять с непонятным раздражением, опять с вызовом.

— Поздно возражать.

— Это как? — дернулся Здор.

— Ты уже согласился. И я согласился. Остались некоторые подробности.

— Какие еще подробности?

— Работа, старик. Работа.

— Что я должен сделать?

— Ничего, — Выговский широко улыбнулся. И опять в его глазах сверкнул огонек сатанинского азарта. — Будем сотрудничать. Вот и все. — Он протянул Здору визитную карточку, вынув ее из нагрудного карманчика пиджака движением легким и неуловимым.

Здор опасливо взял картонку, тронул машину с места, проехал метров пятнадцать, опять уперевшись в «Мерседес». И только тогда вчитался в визитку.

— Председатель правления концерна... — Голос Здора как-то сразу осел, сделавшись сиплым и негромким. — И сколько же народу в этом концерне?

— Уже двое.

— И это... Кем же я буду?

— Начальник транспортного цеха. Годится?

— Хохма, да? — Оцепенение, охватившее было Здора, откатило, и он опять сделался ершистым и усмешливым. Резко вытерев запотевшие руки о штаны, он хохотнул, крутанул головой, как бы изумляясь собственной доверчивости, весело глянул на Выговского, снова тронул машину, проехав еще десяток метров. — Ладно, — сказал он, как бы прощая пассажиру неуместные шутки. — Тебя к какому вокзалу?

— Ярославскому. На Север еду.

— Север — это хорошо, — кивнул Здор одобрительно.

— Наша фирма называется «Нордлес». На карточке написано.

— Красиво звучит.

— Я ведь не случайно к тебе подсел, — сказал Выговский как бы между прочим, будто все сказанное до этого не имело слишком большого значения.

— Да-а-а? — протянул Здор. — Чем же это я привлек к себе внимание?

— Знающие люди посоветовали. Вот, дескать, человек, который тебе нужен.

— И какие же это во мне прелести вдруг обнаружались?

— Они обнаружили не вдруг. Ты ведь бывал на Севере, да? Сколько лет там провел?

— Сколько надо.

— От звонка до звонка? — уточнил Выговский.

— Можно и так сказать.

— Хочешь поехать со мной?

— Прямо сейчас? — Здор и сам не заметил, как кратко спросил, будто одним выдохом. Вроде и усмешливо, вроде анекдот подхватил, но была в его голосе, в вопросе, в быстроте ответа готовность если и не ехать с незнакомцем на Север, то хотя бы обсудить эту затею.

— С билетами проще стало. Поезда ходят полупустые. В купе по одному, по два человека.

— Это если туда ехать.

— Но мы ведь и едем именно туда.

— А назад?

— Как с делами управимся... Через неделю вернемся.

— Много дел?

— И от тебя зависит.

— «Нордлес», говоришь? — это были первые слова, которые Здор произнес всерьез. Он начал понимать, что треп давно кончился, да и вообще, был ли треп между ним и этим роскошным хмырем в пиджаке с подкатанными рукавами?

— Там все написано, — Выговский показал на визитку, которую Здор опасливо положил на приборный щиток, поодаль от себя, словно чувствуя исходящую от нее недобрую силу.

Пробка наконец немного рассосалась, машины медленно, но уже безостановочно двинулись по Садовому кольцу. «Мерседес», который все это время маячил перед глазами, рванул вперед, и ни один «жигуленок», ни один грузовик не осмелились остановить его, поприжать, отеснить. «Мерседес» просто прошел сквозь поток машин, пересек несколько разделительных линий и уверенно свернул к банковским небоскрегам.

— Вот так надо ездить, — сказал Выговский.

Здор молча взглянул в его сторону, отметив про себя ровные зубы, загорелую шею, раскрытый ворот белой ру-

башки, оттеняющий загар. Он ценил в себе этакую при-
блатненную непочтительность, с кем бы ни разговаривал
и о чем бы ни шла речь. И сейчас, понимая, что невольно,
сам того не заметив, попал, все-таки попал в зависимость
к этому роскошному господину, который отправляется на
Север совсем не так, как в свое время отправлялся он,
Здор не мог изменить себе и изо всех сил старался со-
хранить тон.

— «Мерседес», конечно, хорошая машина, — медлен-
но заговорил он. — И Шарончиха неплохая баба... А Ша-
рончиха в «Мерседесе» — это, наверно, вообще полный
отпад... Только вот что... Мне ведь с ней не совладать.

— Почему?

— По той же причине, по которой и ты не совладаешь.

— За себя я спокоен, — посерьезнел Выговский.

— Я тоже за себя спокоен, — Здор почувствовал, что
взял верный тон, и как бы обрел уверенность. — Если
уж называть вещи своими именами, если уж говорить
откровенно...

— На это и надеюсь, — вставил Выговский.

— Не надо, — отмахнулся Здор, осознав вдруг, что
Выговский допустил ошибку. Этими вот простенькими
словами он выдал и свою зависимость от Здора. И все,
что он говорил о Шарон Стоун и «пятисотом» «Мерсе-
десе», действительно могло оказаться просто трепом.
Выговский тоже понял, что промахнулся, его слова, ко-
торые вроде бы должны были польстить Здору, оказались
пустоватыми. — Так вот, — Здор дождался стрелки на
светофоре у Министерства путей сообщения и свернул
влево, вниз, к площади трех вокзалов. — Так вот... Иго-
рек. Я ведь прежними делами не занимаюсь.

— И прекрасно!

Оба сразу почувствовали, что и эти слова слабоваты.

— Не занимаюсь, — повторил Здор. — У меня теперь
другие игры. Если кто указал на меня пальцем... Переда-

вай тому человеку большой привет. — Здор подождал, пока проедет трамвай со стороны Красносельской, свернул круто влево и пристроился у высокой железной ограды рядом с туристским автобусом. — С тебя сто рублей.

Выговский молча вынул деньги, отсчитал десять сотенных купюр и положил их на приборную полку, накрыв ими собственную визитку.

— А теперь слушай. Я ведь всерьез предлагал тебе ехать со мной. Ты работал в леспромхозах. Знаешь местных. Условия. Начальство. Там же не только эки, там и воинские части. Им нужно питание, обмундирование, начальству нужны деньги, хорошие деньги, у них нет техники, горючего... И так далее.

— И пойдут эшелоны на юг? — спросил Здор.

— На запад тоже.

— Там уже ждут?

— Заждались, — Выговский посмотрел на часы. — Так что? Едешь? Время есть.

— В другой раз. Если он будет, конечно.

— А почему ему не быть?

— Мало ли, — Здор склонил голову к тощеватому плечу. — Жизнь богата в своих проявлениях. То морду покажет, то зад... И не знаешь, что лучше. Вроде и морда — но оскаленная. Вроде зад — но добродушный и незлобивый... Так кто на меня-то вывел?

— Не скажу! — Выговский рассмеялся. — Как это в песне поется... Пусть останется глубокой тайною.

— Нет ничего тайного, что бы не стало явным.

— Ого! — восхитился Выговский. — Библию считаешь?

— С ментами общаться пришлось. Чуть ли не каждый следователь мне эти слова приводил. И я поверил — правду говорят.

— До скорой встречи! — Выговский протянул руку.

— Бог даст, свидимся, — узкая ладошка Здора утонула в широкой лапе Выговского. Была она, несмотря на жару, прохладной, и Здор явственно почувствовал власть, таившуюся в этой ладони. Женщины, должно быть, это чувствуют острее, или лучше сказать, обреченнее. Здор не пытался сопротивляться сильному пожатию Выговского, лишь усмехнулся про себя — знал он таких вот красавчиков, которые не упускали случая показать свое превосходство, в чем бы оно ни заключалось. Выговский увидел его скрытую усмешку и поспешно ослабил рукопожатие — это тоже была ошибка. Не надо бы ему вот так сразу настаивать, давить, возвышаться.

Когда он вышел из машины и затерялся в толпе, махнув на прощание высоко поднятой рукой, Здор поднес ладонь к лицу, понюхал и ощутил сладковатый запах — так пахнут арабские духи, в них всегда есть приторная сладковатость. Это его озадачило — у Выговского должен быть другой запах, не столь откровенно женский.

Золотой змей на шпиле Казанского вокзала сверкал в розоватых лучах закатного солнца, возле универмага «Московский» толпились люди, зазывалы через динамики приглашали посетить могилу Высоцкого, могилу Пахомовой, могилу Квантришвили, могилы Листьева и Миронова, побывать среди могил Ваганьковского, Новодевичьего и еще каких-то кладбищ. Казалось, люди только для того и приезжали в Москву, чтобы побродить среди могил, будто больше здесь смотреть-то нечего, заняться нечем, среди живых и повидать-то некого. И надо же — лезли в автобусы тетки с сумками, пацанье в джинсах, девицы в таких коротких юбках, что каждый желающий мог оценить красоту и изысканность их ягодичных складок.

Как же — в Москву приехали!

Не лыком шиты!

Здор сидел за рулем, не прикасаясь ни к визитке Выговского, ни к его деньгам. Он не решался сунуть их

в карман, словно ждал какого-то ему одного понятного разрешения, знака, сигнала.

— Слово предоставляется начальнику транспортного цеха, — пробормотал он. — Интересно. Жизнь, выходит, не кончилась... Жизнь, выходит, еще только начинается.

Неожиданно в боковое стекло раздался резкий частый стук — наклонившись и покраснев от натуги, в салон заглядывал толстый мужик.

— Свободен? — спросил он.

— Пока свободен, — усмехнулся Здор, открывая дверцу машины.

— Что значит пока? — требовательно спросил мордастый, видимо, боясь московского подвоха.

— То и значит. Неизвестно, останусь ли свободным завтра. А сегодня свободен, о чем и докладываю. Чисто-сердечно и искренне.

— На Ваганьковское отвезешь?

— Отвезу. А что там, на Ваганьковском?

— Высоцкий.

— Это который поет?

— Он и песни поет, он и горькую пьет, и еще кое-чем занимается, — жизнерадостно рассмеялся толстяк, падая на переднее сиденье. — У меня два часа до поезда. Успеем?

— Смотря сколько будешь на могиле комлать.

— Минут пятнадцать надо потолкаться, потоптаться... А?

— Тогда успеем.

— А что это у тебя деньги на виду? — толстяк показал на пачку сотенных. — Нехорошо. Деньги не любят открытого пространства. Они в темноте размножаются, в помещении тесном, в воздухе затхло. От сквозняков дохнут. Улетучиваются.

— Согласен. — Здор сложил купюры пополам и сунул их в карман.

— И на пуговицу застегни, — напомнил толстяк.

— Застегну, — усмехнулся Здор. Он дождался знака, который позволил бы ему взять деньги. Визитку сунул в тот же карман. И тронул машину с места.

— Только мне и назад надо.

— Успеем.

— Две сотни хватит?

— Три.

— Две с половиной! — Толстяк напряженно уставился на Здора.

— Пусть так, — Здор почувствовал, что ему совершенно безразлично, сколько денег даст ему этот любитель Высоцкого, да и даст ли вообще. Откуда-то из прошлого дохнуло ветром холодным и тревожным. И леспромхоз, промерзшие стволы деревьев, снег по пояс, визг пил — все это вдруг приблизилось, окружило его, сдавило со всех сторон. Он, кажется, даже ощутил запах мерзлой древесины. — Ох, недоброе чует мое сердце, — пробормотал он вслух. — Ох, чует мое бедное сердце...

— Что? — насторожился толстяк. — Пробки на дорогах?

— Пробки бывают только в бутылках! — зло и весело ответил Здор. — Да и то не во всех. Только в полных, мужик, только в полных!

Проснулся я, когда солнце уже приблизилось к острым шпилям Карадага. Жара спала, и снова зазвучали в парке Дома творчества человеческие голоса. Некоторое время лежал неподвижно, глядя в потолок и прислушиваясь к звукам, которые просачивались сквозь двери лоджии. В соседнем ресторане уже загрохотал оркестр — к ночи он наберет такую силу, что будут дребезжать мои окна и колыхаться шторы. Будут истерично и натужно визжать женщины, уверенные в том, что наступила наконец и для них настоящая жизнь с застольями, ночными

купаниями и танцами до упаду. Я уже убедился — визжат в основном полненькие такие, с тяжелыми ногами тетеньки на пятом десятке, дорвавшиеся до счастливых времен. Их кавалеры — молчаливые мужички с крутыми плечами и натруженными руками.

Рядом Донбасс.

Эти тоже дорвались.

Я вышел на лоджию.

Внизу, мимо подъездов прогуливались мамы с детишками. Они встревоженно, даже с каким-то благоговением поглядывали на окна — как же, Дом творчества писателей, здесь создаются художественные произведения. Как-то встретил плакатик... «Тише, тише, тише, тише! Кто-то где-то что-то пишет». В этом Доме давно уже никто не пишет.

Отписались.

Миновали счастливые времена, когда государству требовались их творения, а они эти творения поставляли обильно и в срок.

Пришли другие времена.

Прежние читатели уже не могут купить книг, не по карману, а пришедшие им на смену другие читатели потребляют исключительно криминальные романы. А эти криминальные романы тоже, оказывается, не столь уж простое дело, прежняя сноровка не выручает, опыт по созданию производственных произведений не годится совершенно. Далекое не каждому удастся нащупать тонкую грань между собственной ограниченностью и детективной занимательностью. Да, большие таланты терпят сокрушительные поражения и признают полнейшую свою несостоятельность. То-то они, бедные, озадачены, то-то они, бедные, сконфужены.

Слышал я здесь их причитания после третьего стакана на каберне. Делился как-то один классик наболевшим. «Столько, говорит, кровищи подпустил в свою рукопись,

столько трупов навалил почти на каждой странице! А какая, говорит, у меня постель в романе! Какая изысканная порнуха! Не говоря уже о том, что можно все тонкости мата изучать по каждой главе... И надо же — отвергли, подлые! Значит, маловато крови, значит, недостаточно трупов!» И слезы отчаяния, оскорбленности, слезы непонимания и обиды катились из его маленьких, но чрезвычайно выразительных глаз.

Мне нужно было продлить срок моего пребывания. Дом творчества был почти пуст, и я надеялся, что сложностей с этим не будет. Одноэтажное административное здание было рядом, и, заперев двери на все обороты ключа, я направился к директору.

Сумрачный прохладный вестибюль был пуст. Стены украшали две громадные картины. На одной были изображены Золотые ворота — продырявленная скала в море, на второй почему-то подмосковный заснеженный лес. Видимо, какой-то живописец расплатился картинами за свое здесь пребывание.

— Можно? — заглянул я к директору.

— Входи! — Леонид Николаевич гостеприимно махнул рукой. — Как отдыхается?

— С каждым годом все лучше.

— Коньячку?

— Можно, — я присел к приставному столику.

Леонид Николаевич был плотен телом, улыбчив, подвижен. Что-то простецкое сквозило в его манерах, что-то простоватое — похоже, не всегда он был большим начальником, не всегда командовал отдыхом классиков и лауреатов.

Пока директор ходил к шкафу за коньяком, я по привычке, по прошлой своей, наверно, уже невытравляемой привычке, скосил глаза в его ежедневник. Телефоны, даты, имена...

И вдруг...

Изморозь, иначе не скажешь, изморозь пробежала зябкой волной по всему моему телу — я увидел в блокноте собственную фамилию. Не ту, под которой жил здесь, не ту, под которой мотался по белу свету, я увидел в блокноте обведенную овальной линией собственную свою, истинную фамилию.

— Наш коктебельский поэт сказал потрясающие слова, — Леонид Николаевич возник из-за моей спины, поставил на стол бутылку, две маленькие хрустальные рюмки и сел напротив.

— Хорошие слова? — единственное, что я мог произвести в эти секунды.

— Я пью божественный напиток — коньяк с названием «Коктебель». Он будто драгоценный слиток... Ну, и так далее.

— Знаю, — сказал я. — Слава Ложко. Эти стихи выбиты в его ресторане на гранитной плите... Позвоню?

— Конечно, — Леонид Николаевич радушно махнул рукой в сторону телефона.

Я встал, обошел вокруг стола, сел в начальственное кресло, придвинул к себе телефон, заодно, как бы между прочим, придвинул ежедневник и, наугад потыкав пальцем в первые попавшиеся кнопки, склонился над блокнотом.

Так и есть.

Моя фамилия записана на странице, помеченной сегодняшним днем. Я редко слышу удары собственного сердца, но сейчас почувствовал. Частые, сильные удары, от которых, кажется, прогибалась грудная клетка.

— О! — воскликнул я радостно, тыча пальцем в ежедневник. — Этот товарищ тоже приезжает?

— Который? — Леонид Николаевич склонился над блокнотом, вчитался в мою фамилию и равнодушно махнул рукой. — Да нет... Кто-то спрашивал, не отдыхает ли у нас этот человек.

— И что? Отдыхает?

— Я обещал уточнить. Завтра опять будут звонить.

— Откуда?

— Даже не знаю, — Леонид Николаевич был беззаботен и разливал золотистый коньяк недрогнувшей своей мощной рукой. — Вроде междугородний звонок. А ты что, знаешь его?

— Встречались, — ответил я со все еще колотящимся сердцем.

— Водку пили?

— Было.

— Если водку пили, значит, почти родня. Знаешь, как говорят в Большом театре?

— А как говорят в Большом театре?

— Хочешь пить — пей. — Леонид Николаевич расмеялся, поднял свою рюмку, мы чокнулись.

Все у нас получилось прекрасно. Коньяк оказался отличным, Леонид Николаевич наполнил рюмки снова, и жизнь продолжалась, мы весело обсуждали писательские проблемы, хохотали, хлопали друг друга по плечам, а за окном садилось солнце, спадала жара, слышались приморские людские голоса, которые, конечно же, звучали совсем не так, как звучат городские, учрежденческие, трамвайные, хотя могут принадлежать они одним и тем же людям.

Да, жизнь продолжалась, но была она уже другого цвета. В окружающую голубизну вдруг влились черные разводы. Они постепенно таяли, растворялись, исчезали, но общий тон неба и моря, общий тон околосолнечного слепящего пространства приобретал явно сероватый оттенок.

Это что же получается?

Вычислили, нащупали, засекали, установили, обнаружили?

Значит, все-таки услышал тогда кто-то мое неосторожное слово «Карадаг». Я хотел спросить у Леонида

Николаевича еще что-то о звонившем, но остановился. Делать этого было нельзя — я уже задал все вопросы, которые казались бы уместными и естественными. Наверняка звонили не только сюда — звонили в пансионат «Голубой залив», на турбазу, в агентство по подбору частного жилья...

— Еще по глоточку? — спросил Леонид Николаевич.

— Нет, спасибо. Хорошего понемножку, — я поднялся. — Надо увидеться с одним человеком.

— Уже есть с кем? — усмехнулся директор.

— Надеюсь, — я неопределенно повертел ладонью в воздухе — дескать, как знать, как знать, что ждет нас этим вечером, какие неожиданности готовит для нас жизнь.

— Ну что ж, заходи! — Леонид Николаевич пожал руку и тут же забыл обо мне, потянулся к телефону — директорские обязанности не заканчивались никогда.

Я вышел на крыльцо, постоял некоторое время, раскачиваясь с пяток на носки. Руки мои были в карманах шортов, на глазах темные очки, на голове кепка с большим курортным козырьком, на ногах поношенные шлепанцы — ничего не осталось от того роскошного хмыря, которым я был совсем недавно.

Сойдя с крыльца, я медленно пошел, никуда не сворачивая, и через полсотни метров уперся в бывший летний кинотеатр. Сейчас здесь показывали обезьян, змей, пауков и прочую нечисть. Посетителей не было, обезьяны протягивали сморщенные, натруженные ладошки, змеи смотрели немигающе, решив, видимо, про себя, что не все кончено, что они еще сумеют что-то там доказать, что-то там утвердить...

Короче, я испытывал нечто похожее.

Подобьем бабки.

Вывод первый — обо мне не забыли, меня ищут. Знает, кто-то получил заказ. И намерен этот заказ выпол-

нить. Вряд ли он знает, что заказчика уже нет в живых. Это не имеет значения. Аванс получен — надо отработать. Всегда найдется тот, кто заплатит остальное.

Вывод второй — он знает, где искать.

Вывод третий — я узнал об этом своевременно. Значит, не поздно еще кое-что предпринять. Звонок был междугородний, следовательно, у меня есть немного времени.

Но возникает еще одно соображение — звонил диспетчер, а исполнитель уже здесь. В таком случае он не знает меня в лицо и запросил поддержки. Однако он не может не знать обо мне совершенно ничего, какие-то зацепки у него наверняка есть. Может быть, их оказалось недостаточно, может быть, по этим зацепкам он не смог меня установить...

Да, это наиболее вероятный вариант.

Звонить наобум и спрашивать случайных людей, называя фамилию...

Это слишком зыбко.

Это слабо.

Это, в конце концов, непрофессионально. Так не делается. Человек высылается по адресу и отработывает то, что ему положено.

Вывод последний и главный — исполнитель уже здесь, в Коктебеле, но пока в растерянности. Я еще не на мушке.

Вполне возможно, я уже пил с ним, трепался о чем-то, как-то себя выдал. Но хорошо хотя бы то, что знаю наверняка — он здесь. Он бродит со мной по одним дорожкам, нежится на одном пляже, может быть, даже питается в одной столовой. Уж не сидит ли он со мной за одним столом?

В столовой за моим столиком оказался новичок.

— Не возражаете? — спросила Наташа.

— Нет, не возражаю.

— Он каждый год приезжает.

— Тем более, — сказал я. Если приезжает каждый год, значит, его-то опасаться не надо.

Напротив меня сидел человек с голубыми блеклыми глазами, худощавый, лысоватый, с мозолистыми ладонями. Но это была не натруженность землекопа или могильщика, скорее натруженность спортсмена. Взгляд цепкий, немигающий, пристальный. У исполнителей таких не бывает. Исполнители благодущны в общении, расслаблены и снисходительны. Они-то знают, что последнее слово всегда за ними. У них нет надобности что-то доказывать, отстаивать, утверждать. Они улыбочиво и охотно соглашались со всем, что им говорят. Сочувственно и согласно кивают и уже высматривают на тебе ту самую точку, то самое местечко, в которое удобнее всего...

— Алевтин, — мой сосед протянул руку через стол. — Это не фамилия. Это имя.

— Очень приятно. Евгений.

Я уже давно заметил, что представляться чужим именем всегда легче и проще, чем собственным. Называя истинное свое имя, ты уже берешь на себя какую-то ответственность, уже вынужден отвечать за слова и поступки. А так, что бы ни сморозил, как бы ни поступил, к тебе это не пристанет, как не пристанет чужое тебе, может быть, даже ненавистное имя.

— Или просто Лева, — продолжал представляться сосед.

— Со мной можно поступить точно так же. Каждый раз произносить Евгений... Тягостно, долго, глупо.

— Согласен! — весело подхватил мой новый знакомый и принялся за свой ужин. Котлету он резал ножом, старательно укладывал отрезанный кусочек на вилку и уже с вилки захватывал губами. Точно так же он поступал и с кашей. Смотреть на него было занятно — на кончик ножа он подцеплял ком каши, перекладывал его

на вилку и только после этого отправлял в рот. По его представлениям, это, очевидно, должно было говорить о хорошем воспитании и знании изысканных манер. Из чувства противоречия я к ножу не притронулся вовсе. Передавливал котлету вилкой, вилкой загребал кашу и прекрасно при этом себя чувствовал.

— Надолго? — спросил я.

— Две недели. Больше нет смысла. Погода испортится, похолодает, задуют осенние ветры, и Коктебель, как таковой, исчезнет.

— Журналист?

— Как догадался?

— Писатели более церемонные, самоуглубленные, преисполненные величия и неповторимости.

Алевтин весело, даже с какой-то надсадностью рассмеялся — ему было приятно слышать о писателях нечто уничижительное. Видимо, не всегда отношения с писателями, если таковые и были, складывались у него легко и просто.

— Но книги у меня есть, — Алевтин поднял вилку зубьями вверх, как бы подчеркивая значение своих слов, дескать, и мы не хухры-мухры.

— Да-а-а? — удивился я, наполнив свой голос восторгом и обожанием. — О чем?

— Как тебе сказать, — он раздумчиво подцепил ножом и положил на вилку комочек каши, отправил ее в рот, не торопясь принялся жевать. — Всевозможные необычайные проявления человеческой жизни.

— Но это опасно? — прикинулся я полным дураком.

— Случается, — кивнул он с некоторой скорбью. Замер на какие-то секунды, и его остановившийся взгляд, похоже, был устремлен в прошлое, где было ему тяжело, где подстерегали опасности и жизнь висела на волоске. — Афганистан, Чечня, Чернобыль — это все этапы моего пути, — Алевтин печально улыбнулся, чуть

развел ладони в стороны, мол, тут уж ничего не изменить.

— Завидная судьба!

— Знаешь, завидной она стала, когда я убедился, что выжил.

— Таких людей встретишь не часто, — я из последних сил подыгрывал моему соседу, чувствуя, что это у меня получается — любой восторг, самый хилый, он заглатывал не раздумывая.

— Могу похвастаться, — он цепко посмотрел на меня, словно прикидывая — стоит ли делиться заветным. — Могу похвастаться — я считаюсь участником Афганской войны, имею удостоверение чеченской кампании, получаю пособие как пострадавший от Чернобыльской катастрофы, а кроме того — являюсь почетным космонавтом.

— А так бывает?

— Со мной вот случилось, — он недоуменно пожал плечами, словно удивляясь собственной судьбе. — Представляешь, вызывает редактор, Анатолий Владимирович, и говорит... Предстоит, говорит, небольшая командировка... На орбиту.

— И что?

— Пришлось слетать. Ненадолго, правда, недели полторы был с ребятами. Сдружились мы — отпускать не хотели, запрос посылали в Центр управления полетами... Но, сам понимаешь... Пришлось вернуться. Но на Землю-матушку насмотрелся из космоса вволю. Уж теперь-то я знаю, где мы живем.

— А это... Чернобыль? Неужели облучился?

— Врачи не признают, но я-то чувствую, — Алевтин смотрел сквозь меня, смотрел прямо в радиационное пространство и, похоже, видел себя, неукротимого, в недрах четвертого блока Чернобыльской станции. — Повидал я кое-что на этой земле.

— Притомился?